

АЛЕКСАНДР МОРЕВ

РАНЕННЫЙ И ТРУС

Трое пробирались из окружения. Самое страшное осталось позади. Только что они ползли по ничейной земле — впереди свои. Как вдруг услышали со стороны немцев рев низко летящего над землей самолёта, и услышав этот быстро приближающийся рев, словно это был рев погони, один из них вскочил и побежал, сам не зная куда, и не видел, что над головой пронеслись звезды. Самолет пролетел, а человек всё бежал, спотыкаясь — маленькая фигурка на пустынном поле.

И их сразу обнаружили — и свои, и чужие. И те и другие открыли огонь. Бежавший отделался легким головокружением, двое были ранены.

Когда капитан втащил в воронку своего раненого бортмеханика, воронка еще была горяча от взрыва. Запыхавшийся Трус уже лежал там, терзал ворот гимнастерки и никак не мог отдышаться. Капитан больше не мог видеть этого человека.

Пуля свистнула над головой и попала рядом в дерево. Звук был сухой и короткий. Капитан огляделся и увидел над воронкой покарженный ствол и голые сучья ветлы. Листву только что сорвало взрывом. Кое-где перешибленные ветки болтались на полосках коры. В стороне разорвалась еще одна мина. Ветки качнулись. Он вытер мокрый лоб.

— Что ж, придется ждать тут ночи! Слышите?! — Он не смотрел на труса.

Раненый бортмеханик, казалось, ничего не слышал. Стиснув зубы, он по-матерному смотрел на Труса. А тому было все равно.

— Что ж, яма хорошая, — вздохнул Трус.

— Яма? Могила! — Заорал Раненый и судорожно пнул Труса

ногой.— Могила, где нас зароят! Понял гад?

Покойники, примите более приличные позы.— Капитан видел-оба на пределе, и подвинулся на локтях к Раненому.

— Что у тебя? Дай посмотрю,— но не успел. Снова взрыв. Все трое вжались в песок. Земля вздрогнула и засыпала их. Вторая мина разорвалась в стороне. Капитан и Трус зашевелились освобождаясь от грунта, отплевываясь, затрясли головами, стряхивая песок. Где Раненый? Мелкий песок и пыль сыпались с неба. Раненого не было в воронке. Но вот песчаная голова вылупилась из грунта, продрала глаза и вновь с бешенством уставилась на Труса.

— А ну, дуй отсюда! При в ту воронку! — И гневный кивок в сторону, и плевков песком,— Ну?

Трусу все равно. Кажется, Трус сейчас лениво свернет свой коврик и уйдет загорать в другое место. Раненый съежился.

— Сука! — простонал Раненый.— И еще плевков.— Ну, дай ты ему в морду, капитан! Не видишь— сволочь какая! — И сам сморщился от боли.

Капитан видит.

— Сержант, лежи спокойно и не двигайся.

Нет, его терпение кажется Раненому резиновым.

— Сколько можно прощать этому гаду?...

— Не ерзай, тебе говорят!

Три дня он пресекал грубости Раненого по отношению к Трусу, и вот... Он осторожно задрал грязную липкую гимнастерку на спине борт-механика. Старая ножевая рана страшна. Она распухла и выросла за ночь как гриб, на который никто не смотрел. А тут еще новая... Из-за этого типа! И капитан

не знает, что делать? Бинтов нет, медсанбат на другой планете! Проклятье! Он смотрит на Труса как на пустое место. И вдруг в ярости впивается зубами в подол гимнастерки, и, растопырив локти, с треском рвет ~~ж~~ крупкую ткань. Раненый взрагивает. "Вернулся и потащил рядом с собой, а не на себе, не закрыл себя, и сам задымил плечом. А эта рыжая скотина лежит тут рядом..."

А Трус смотрит как Он перевязывает Раненого.

"Почему я не ранен? Ведь я, я — причина их страданий". И украдкой, словно ворун, Трус смотрит и завидует безнадежно раненому человеку, над которым так заботливо склоняется Капитан. "Словно их двое в воронке, а меня нет". Губы Труса взрагивают. И кажется, стоит только перевернуться на живот и спрятать лицо, и Трус зарыдает от боли, обиды и одиночества. Пот стекает по красному лбу, белесые брови набухают, и горе Труса сейчас прорвется, стоит только перевернуться на живот, чтобы никого не видеть, никого. Но он глядит и не переворачивается, и слышит:

— Теперь до золотой свадьбы дотянешь, старшина! — И видит, как Капитан принимается за свое плечо.

— До деревянной бы не доехать, — бурчит благодарный Раненый.

— Только не раскисай. До ночи как-нибудь дотянем, а там — свои. Дотерпишь?

Раненый вздыхает, и холодный пот заливает лоб.

— Там тебе сразу вольют что надо. Спирту поднесут. Осколок вытащат. Вот игрушка, возьмишь детям играть. Потерпи, старина, спирт чистый будет, медицинский.

— Да, спирт, — вздыхает Раненый и глотает. — Воды бы сейчас.

Все трое не пили второй день. Ни капли воды под палящим солнцем. Ну, хотя бы дождь. Нет ни облака, ни черта. Там, где была вода, всегда торчали немцы, и много немцев. А кругом — степь с редкими балками. Капитан лежит на боку, зажав руки между горячих колен, и смотрит в песок. Ему, как и Трусу, двадцать семь. Он чуть ниже Труса. Так же широк в плечах, но худощав, и поэтому кажется выше, когда оба стоят на ногах.

Волосы грязные, слипшиеся, виснут на лоб. Глаза пристальные, но добрые, ресницы пыльные, щеки заросли пятидневной щетиной. По худым скулам стекает пот. Он силен, и не может примириться с тем, что надо ждать ночи.

Очень жарко. Как никогда хочется пить. Он вынимает и кладет на планшетку парабеллум.

У них осталось три пули: две в обойме его трофейного парабеллума для Труса и для себя. И одна в нагане Раненого — тоже для себя, хотя раненый думает, если нагрянут немцы, то и эту последнюю — первому же фрицу в лоб, и давай бог ноги! Так думает Раненый.

Раненому под сорок. Он коренаст, круглоголов, лицо конопатое — шилом бритый, так звали его в летном полку. Лежит на животе, очень хочется пить, спать и ждать ночи.

И капитан тоже ложится поудобнее устраивает раненое плечо, и закрывает ладонью глаза. Солнце течет сквозь пальцы, как из сквозь щели сарая. В ушах стоит звон. Станный звон. Хочется сосредоточиться на чем-нибудь одном, длинном, как дорога, и ехать, и смотреть по сторонам, и считать столбы: раз, два, три и так до тысячи, до ночи, пока поезд не придет домой.

И он сжимает пальцы в кулак и смотрит из-под руки на Труса.

Трус рыж. У Труса голубые глаза и белесые ресницы, как

И он сжимает пальцы в кулак и смотрит из-под руки на Труса.

Трус рыжий. У Труса голубые глаза и белесые ресницы, как пруды в желтом выгоревшем тростнике. У Труса фигура отлета, огромные ноги в пыльных обмотках, в здоровенных ботинках, размер 46. Щеки успели зарости, по крайней мере, недельной щетиной. Подбородок рыжего напоминает густую карчетку из медной проволоки. У Труса большой высокий огненно-красный от солнца лоб, совершенно белый под пилоткой. Большие красные руки, покрытые белыми волосами. Одним таким бровастым кулаком можно убить быка. "И все-таки, ты трус, черт меня побери, и я не знаю, что с тобой делать?" — Думает Капитан.

Трус тоже, как и Раненый, лежит щекой на песке и смотрит безучастно. Но вот, поерзал щекой, приподнял голову, тупо уставился в песок, ковырнул пальцем в том месте, где лежал щекой, и вытащил из песка осколок. Равнодушно повертел его и выбросил из воронки. Снова лег щекой на то же место, с тем же выражением тихих глаз. В одну точку. В одну крохотную мысль и даже не мысль — скорее одно щемящее чувство пустоты и непричастности ко всему. Может быть, он вспоминает о чем-то хорошем, что не повторится, или с болью думает о своей трусости, об осколке в спине Раненого — грустные мысли, а за грустные мысли нельзя растреливать, за них нельзя даже бить по лицу. Он лежит на песке и ничего не может поделать с собой, потому что думает только о своём: не человек уже, а так, в чем душа держится. Слышит звон в ушах — и молчит. Трусусу все равно.

Солнце палит сквозь гимнастерку. Во рту сухо. Совсем сухо. Небо и горло облажила корка высохшей слизи, и эту корку никак не скашлянуть, ни сковырнуть. Нужна вода.

Капитан с ужасом начинает улавливать не звон в ушах, а далекий призрачный звук падающей воды, и не может понять, откуда, неужели слуховой мираж? Или это ветер приносит? Он оборачивается, слушает. Приложил к уху часы, корпус часов горит от солнца. Мирное тиканье. Опустил руку. Воды нет! Мираж! На часах — без восьми десять. Секундная стрелка торопится, бежит. Где-то далеко, словно на самом краю земли, тихо громыкает гром. Если б гроза! Но ровный гул в глубине, по передовой, не утихает. Канонада! Идти еще долго, очень долго. Он заводит часы и думает: " Не для того же вас под заводят, чтобы вы тикали ночью на руке у трупа!" И снова слышит призрачную воду.

Рядом бледный Раненый, открыв рот, пьет свою воду. Стягивается сухой степной воздух. Губы потрескались, рот приоткрыт. Он спит, и с высоты своего первого полёта видит землю. Она кругло поворачивается под крылом. Признаки весны видны повсюду: в полях снег обнажил во многих местах бурю пашню. Земля только что проснулась, свежая, сильная, вчера она вся еще лежала под снегом, а сегодня вылизала себя и пасется внизу, как огромная корова — бока в белых и черных пятнах.

Крупный пот дрожит на лбу Раненого. В Трус слышит звон в ушах и думает: " Неужели правда, это она? Они не знают, они ползли, и я не сразу её увидел, а когда увидел, было поздно: грохнула мина, и я не мог бежать туда, видит бог, не мог, а то бы я уже напился. Надо было сразу спуститься туда, не гнать к своим!... Своих нет... Есть только трава и вода, там внизу. О, я бы там прожил свою жизнь, в этой тихой низине.

Там кусты и деревья, там тень, там вода, там вода..."

И вдруг слышит рядом голос Капитана. А Он, который никогда не бросал слов на ветер, вдруг бросил:

- Слышите? Вода!..

Раненый разлепляет тяжелые веки. "Заговаривается", - думает он. И Раненому жутко. "Эх, капитан, и ты слабеешь!"

А капитан смотрит из-под руки в небо и трудом проглатывает.

- Мне кажется, рядом вода, и я не схожу с ума. Слышите?!

Раненый безнадежно вздыхает и отворачивается, а Трус странно приподнимается на локтях. Глаза Труса вдруг оживают, и Трус пугает всех таинственным шепотом:

- Вода рядом, - шепчет Трус. - Я видел воду, когда бежал. Вода есть. Она тут рядом, за бугром.

- Так какого черта ты молчал?! Взрывается Капитан.

Трус растерянно улыбается, словно проснулся.

- А ну его, все врет! Воду выдумал! - шепчет Раненый, и дрожит губами.

- Да нет, нет же. - Странно и светло улыбается Трус, словно действительно только что проснулся, и машинально поправляет свою флягу на боку. - Вода есть, там, внизу мельница или плотина - я не понял. - Трус словно вынул пленку из проявителя, и мысленно посмотрел ее на свет. - Есть! Точно! Точно.

- Подожди, давай все по порядку, - Капитан в нетерпении. - Где она?

- Там, - махнул Трус вправо от себя. - Я бежал и видел её справа.

- Значит, слева?

Рыжий смотрит на Него и ничего не понимает, почему слева? Оглядывается по сторонам, взглянул на солнце.

- Я бежал оттуда?

- Вон откуда мы ползли, оттуда и ты бежал.

- Как, значит, совсем с другой стороны? Ничего не понимаю!

Трус взмок и впервые подумал о себе: "Что же это со мной? Значит, останься я один, и ночью, вместо своих, я приполз бы обратно к немцам!" Белесые брови набухают потом.

- Значит, я сижу спиной к своим?

- Да. - Капитан помнил: когда вволок в воронку Раненого, распластанный Трус терзал ворот гимнастерки на этом самом месте.

- Ты точно помнишь, что вода была справа?

- Когда бежал - да. Там низина.

- Так, - Капитан помолчал. - И далеко она?

- Метрах в пятидесяти. А может в ста, если не больше.

- Так, хорош глазомер! Теперь расскажи все по порядку: какая земля, какие кусты, есть ли воронки по пути? Выкладывай все, что запомнил.

И Трус рассказывает все, что за секунду схватили его глаза и запечатлел мозг. Трус словно опускает бумагу в проявитель, и Капитан и Раненый уже видят, как четко проступают очертания пейзажа.

А Трус говорит, говорит, и не замечает, как сам весело двигает на боку пустую флягу, словно уже бежит за водой. Рассказывает какая земля, и что нет кустов, и что есть две-три воронки по пути, а где не запомнил. Трус хочет скорее, скорее, хотя бы мысленно показать им воду. И все еще не может прийти в себя. "Ведь не будь его тут, и я бы попал к немцам, но теперь все ясно: с левой руки - правая сторона, с правой -

левая". Все ясно Трус, и ничего не ясно. И Трус торопится, рассказывает, что там дальше, за кустами, за купа́ми деревьев:

- Плотина там или мельница старая, я не понял, деревья мешали разглядеть. Мельница! Скорее всего мельница.

- А куда течет ручей?— Капитан уже видит старую заросшую мельницу, и как вода льется на скатах бревен и блестит на солнце.

- Как куда? Не знаю, ведь далеко. Течения-то не видно...

- Но раз ты бежал и смотрел вперед и видел, как с плотины лилась вода, значит ручей течет к ней.

- К немцам, к немцам.— Спыхватывается Трус и краснеет. — Как я сразу не сообразил?

И вытирает пот. " Вот все, что я могу теперь—ничего! Вот и физмат с отличием, и шахматные победы! Мат в два хода!" И смущенный, снова отвечает на Его вопросы. И дорога к ручью все более проявляется. И Капитан, и Раненый борт-механик уже видят всю дорогу до ручья. А добрый Трус в который раз бежит туда и обратно, и возвращается с полным ведерком воды, как в детстве с ведерком к речке, и обратно к бабушке, к доброй хорошей бабушке, чтобы полить ей цветочки. Как в детстве, совсем как в детстве, торопится маленький Рижик, и из детского голубенького ведерка расплескивается вода.

- Ну, будет! — Зло обрывает Раненый.— Потрепался и хватит! — Раненый зорко исподтишка следил за Трусом.

- Заливает невесть что — воду выдумал!

Трус в недоумении.

- Да, нет же, чудак! Она есть! Пойми! —И в запальчивости доказывает: — Ты полз, а я бежал, я был выше тебя...

- Да замолчишь ты, гад? — взрывается Раненый.— Ты

поползешь, что ли? Ты, рыжая поганка? - И плюет... и зажмуривается как от удара, но удара нет. Капитан только замахнулся.

/ Прекратить! - Капитан в бешенстве.- Как не понять! Я поползу! Я! Понял?

Капитан смотрит на Труса. А тот сник - для него все кончено. Куличек разрушен, ведро отброшено ногой в сторону и смято. А была попытка, Трус хотел ползти, и Капитан видел это, но Раненый плюнул в лицо, как в морду"- "рыжая поганка"- и все кончено.

Капитан зло прикрепляет флягу к поясу и не смотрит на Раненого. Он торопится. Раненый с ненавистью следит,

- Не рискуй, Капитан, слышишь?

Но Он пристегнул свою флягу и протянул руку к фляге Раненого.

- Не надо, не надо, тебе говорят! Не дам! - Раненый зло прижимает к себе пустую флягу.- Не дам! Не дам! - И дергает, дергает её к себе.

- Отпусти, ведь больно, больно,- стонет Раненый. И Капитан отпускает.

- Ты что? Успокойся, нужна она мне пустая.

Раненого обессилила борьба за флягу. Раненого трясет: такая сволочь этот Трус! Лежал бы и помалкивал про свою гнусную воду. Раненый тяжело дышит и уже с ненавистью смотрит и на своего капитана.

- Тебе что, жить надоело? - Голос Раненого дрожит.- Кому ты хочешь доказать? Этому ублюдку? Как же, храбрый! Я знаю, и он знает, так что ж, хочешь сделать из себя решето? - Раненый взмок и не может отдышаться.- Ложись, капитан, ~~Не~~

недолго осталось.

- А ты выдержишь?

Раненый дышит.

- Ты выдержишь, я спрашиваю?

- Ну?!

- Все нукаешь!

- Ну, нукаю! От лошадей осталось. Не на тракторах пахать начинал. Ну и что?

- Я спрашиваю, ты дотянешь до ночи, черт?

-?

- Дотянешь?

Раненый закрывает глаза.

- Нашли воду и баста! Вода под боком, мне этого хватит.

- Силен, бродяга...

Капитан не мог успокоиться. Он знает, какой огонь бушует сейчас в этом раненом человеке, и есть вода, чтоб хоть немного залить это пламя. Она рядом.

- Дай пилотку! - Говорит Он Трису. Трус в недоумении.

- Дай, посмотрю, может о нас забыли. - Он снял свой ремень, хлопнув, сложил его вдвое, отчего ремень стал жестким, и на стиге ремня осторожно приподнял пилотку над воронкой. Пилотка тихо покачивается над воронкой. Все трое ждут. Деже Раненый затаил дыхание. Пилотка покачивается над воронкой. Словно человек-невидимка высунул голову. Тишина. Какая тишина! И вдруг, ремень рвануло, пилотка отлетела на край воронки, и послышался далекий выстрел, отодвинутый расстоянием.

- Проклятье! Снайперская точность! - Он вертит в руках пилотку. - А слышали, откуда выстрел - ведь это наши!

- Ну нашлся, - Сказал удовлетворенно Раненый.

"Да, вот так, дырка от пули чуть повыше уха—и крышка человеку— неведимке!". Он бросил пилотку Трусу.

— А что не спят наши! — Сказал повеселевший Раненый и закрыл глаза. — Не спят..

" Ни черта не боится, — думает Раненый. — Не останови я его, и попер бы за водой". Но Раненый ошибался. Капитан боялся. И единственное, чего он боялся сейчас и все эти дни — это хоть на минутку подумать о жене и сыне. Он видел муравья на песке и боялся думать о жене, и не думая, стоял за её спиной. Он видел её плечо, и не думал о ней. Снимал прилипшую нитку с её плеча и не думал, не думал! Белая нитка никак не отлипала от платья. А она стояла молча у окна, смотрела, как переходят через дождливую улицу. Ждала. Его там.

... А вода звенела. Стекала с черных и скользких, как сомы, бревен, лилась, невидимая там, за бугром, и Он в бессилии сжимал кулаки, хотел не слышать, не видеть этой звенящей, блестящей на солнце воды, и вздрогнул, снова увидев муравья на песке: почему—то муравей полз все на том же месте — время остановилось. " Странно! Тот или не тот?" Он стал смотреть.

Муравей семенял вверх по **песку**, торопился вверх из воронки. И вот, снова, почти на самом верху, еще немного — и скроется, и вдруг, покатылся обратно в воронку... "Тот! Но почему? Ах, вот тут, наверху, между крупным песком и дерном есть еще совсем мелкий зыбучий песок. И этот песок ни с того, ни с сего течет, даже от ветра. Да, трудновато и муравьям в этой яме!" Подумал ли. Но муравей не раздумывал — муравей был упрям. И снова семенял наверх." Куда лезешь, дурень?! Сиди здесь. Там и тебя ухлопают за милую душу". И Он преградил муравью дорогу пальцем, но муравей бегом—бегом вокруг пальца, и опять на

выход. Муравей не хочет ждать ночи, муравей, словно, торопится кому-то на помощь. Там пожар! Там надо спасти жену и детишек, тащить в сторону от огня белые яйца! И когда упорный муравей снова добрался до опасного сыпучего места, Он протянул руку и подстраховал муравья ребром ладони, высадил его наверх.

И снова услышал как дышит Раненый открытым ртом в песок. Дыхание шевелит песчинки. Раненый дышит так, словно бежит изо всех сил за прошедшим поездом и чувствует: Опоздал, не догнать. Но бежит Раненый, бежит к воде, которая звенит там, за бугром, к холодным лужам осеннего дня, к холодному ветру, морщащему эти лужи. И вдруг отрывается от земли и летит.

Самолет поднимается все выше и выше. И Раненый вдыхает влажный воздух и видит с высоты под крылом огромную реку в зелени заливных лугов, и как, что-то белое, словно пролилось молоко на зеленую клеенку, быстро течет к реке.

Раненый вглядывается с высоты и с трудом узнает в белом пятне табун скачущих к реке лошадей. И такого огромного белого табуна, уменьшенного расстоянием, и такой холодной большой реки он никогда не видел раньше, а это стремительное белое, достигнув реки, растекается по берегу и вливается в воду. И Раненый снижается и слышит шум и плеск, и видит взрывы воды. Видит, как лошади с разбега влетают в воду и плывут на другую сторону. Их много. И вода поднимается и выходит из берегов, а они всё плывут, встряхивают, бьют неподкованными копытами пронизанную солнцем глубину, плавно перебирают голубыми ногами в воде, словно скачут в замедленной съёмке. А переплыв на другой берег, встряхиваются, подёргивают кожей, трясут мокрыми гривами, трясут головами.

Вода стекает по лоснящимся на солнце остывшим крупам. И лошади начинают игры на зеленом берегу, гонятся кругами друг за другом, и затевают дикие свадьбы. И стоя, и качаясь на упругих тонких ногах, радостно ржут мокрые кобылицы, сотрясаемые любовью.

Трус трёт свой подбородок и не видит посеревшего лица Раненого.

И Капитан, которому только что казалось, что лежит на песке не он сам, а пустая, раскалённая на солнце цистерна, осторожно дёргает Раненого за плечо:

— Не спи, тебе нельзя спать!

Раненый с трудом разлепляет веки. И Раненому кажется, что это кошмар, снова кошмар — эта живая пилотка, кивающая на ремне. Раненый с трудом наводит глаза на резкость. И вот снова в воронке. И снова все трое ждут. Пилотка покачивается на стиге ремня, совсем низко, так низко, что даже страшно. Неужели её можно заметить? "Неужели?" Думает Раненый. Тишина. И вдруг, вжик! — пролетает пуля, и послышался дальний выстрел Немцы! И еще раз хлопок. И еще раз...

— Немцы! Немцы...

Вжик! И пронесшийся рядом ветер качнул и развернул пилотку, как флюгер, звездой к немцам.

— Неужели, наши поняли? — Обрадовался Трус.

"Что ж не понять?! Раз немец лупит, не по своим же!" — с тоской думает Раненый.

Вжик! Пилотку сорвало с ремня, но Капитан снова надел её на ремень и снова поднял. И опять выстрелы, и опять со стороны немцев.

— Немцы нас засекли. Ремень не показывай, ремень! —

Страдает Раненый.— Наши спят, наверно...

Раненому очень хочется, чтобы они спали сейчас, чтобы все спали. Вжжик! Пилотку сорвало с ремня.

— Вот, наши! Как же спят! Просто долго думают.— И Капитан бросает изрешеченную пилотку Трусу. И тот надевает её с шестью дырами, с медной пятиконечной звездочкой, потерявшей красную эмаль, с погнутым лучом руки. Нет Капитан, не может видеть этого героя в нелепой пилотке и зло срывается:

— Снимая пилотку! Раненый печется на солнце! А ты закрылся тут звездой...

Голова идет кругом. Сейчас Он многое бы дал, чтоб только не видеть перед собой эти яркие вспыхнувшие веселые волосы. Он валится набок, доставая портсигар. В обойме остались две папиросы. Они выкуривали штуку в день на троих, и вот, осталось две. Он взял одну, постучал табачной начинкой по крышке портсигара. Одну Он закурит сейчас, а вторую?..

" Вторую я сберегу до ночи... выкурю её только ночью. Только там у своих. Или нет, вот так и бросают курить, оставляя ее в портсигаре. На всю жизнь. А когда почувствую, что скоро конец, закурю её. Кругом будет другая жизнь. другие люди, а я буду глотать дым этих дней".

Солнце печёт. Он не смотрит, как горит спичка в его пальцах, и делает первую затяжку. А спичка горит. Только что была тонкая белая спичка с красивой розовой головкой, и вот— пламя почти невидимое сейчас на солнце, пожирает её. Головка почернела, обуглилась, шейка стала тонкой и согнулась в сторону, а пламя ползет все ниже к пальцам. И когда дошло до ногтей, Он взмахом гасит огонь.

Он курит, и то и дело подносит папиросу к губам Раненого. Он курит и не дает затянуться Труссу. Он курит и видит, как Трус глазами полными ужаса смотрит на брошенную спичку на песке. Трус наклоняется, дрожащими пальцами поднимает её, хрупкую, и кладёт её на ладонь. Не дыша, с нежностью, долго разглядывает все, что осталось от спички. Губы Трусса начинают дрожать, колючий медный подбородок подпрыгивает, и Трус заливается слезами. Плачет, глядит с нежностью в свою ладонь и плачет. Слезы текут по рыжей щетине. Трус всхлипывает и безнадежно раскачивается из стороны в сторону. И вдруг, не выдержав, судорожно стискивает ладонь и бьёт себя по лицу, закрыв большим красным кулаком мокрое дергающееся лицо. Трус рыдает страшно: громко и беззащитно, как женщина, и бьётся о судорожно сжатый кулак.

— Что за черт? — недоумевает Раненый. — Жалко какой-то спички.

— Ты что?

Но Трус не слышит. Трус безутешен. У Трусса горе. Сгорела спичка. И весь в слезах, Трус то и дело разжимает кулак, смотрит и не может успокоиться. Трус один в этой яме, совсем один. И ничего у него нет, ничего кроме этой спички, сгоревшей у всех на глазах.

— Хватит, тебе говорят!

Капитан больше не может этого выносить. И не затягиваясь минуя Раненого, Он протягивает папиросу Труссу. — На!

Но Трус безутешен.

— Слышишь, кури!

Но Трус не слышит, Трус не замечает Его руки, а заметив отшатывается от папиросы, и оцепенев, с ужасом смотрит на

синий змеящийся дымок.

— Кури, тебе говорят! — Капитан трясет папиросой.

И с сердцем швыряет окурок тому под ноги. Но Трус в оцепенении поднимает ноги и застыв, смотрит не мигая на дымящуюся папиросу, точно она — бомба, что сожгла спичку, а сейчас разорвется и убьет его самого. Трус всхлипывает и начинает икать. И говорит не своим голосом:

— Капитан, у вас есть моя пуля. Дайте, я распоряжусь ей...

— Что?!

— Я не хочу больше жить. Не могу, не могу. Всё равно...

Они смотрят друг на друга, и кажется, Капитан сейчас ударит рыжего изо всей силы, наотмашь.

— Ах, вот что! Тебе нужна пуля? Тебе нужна твоя пуля? Вот твоя пуля! Получай! — Он хватает раскаленный солнцем парабеллум и стреляет в воздух.

Грохот потрясает воздух над воронкой и уносит далеко по земле. Раненый вскидывает голову и растерянно смотрит туда куда унеслась пуля.

— Ты что? Мы же погибнем! — шепчет Раненый.

— А-а, и ты туда же! Бойтесь?! Но это моя пуля, слышите моя!

В воронке становится тихо. На сучке дерева, на тонкой полоске коры покачивается ветка.

— Это моя пуля, и я никогда не стану самоубийцей!..

Ветка тихо качается.

— Надеяться на эту пулю-врага! — Он в бешенстве трясет трофейным парабеллумом. — Но самоубийцы никогда не побеждали. Слышите, вы? И пусть у вас не будет этой проклятой

надежды...

Ветка срывается и падает, скользя и задевая другие ветки.

- Даже падая ты должен победить, даже подыхая, потому что... Потому что... надо жить... и умирать на земле не трусом, а человеком! - И Он смаху стреляет в воздух вторым патроном. Снова нажимает на курок - пустой звук металлического щелчка - тишина! И Он выбрасывает парабеллум из воронки. - Надо жить, поняли вы меня? Даже подыхая ты должен победить, даже ползая, потому что ты не червь, а человек!

Он страшен, глаза его раскалены, и горячо дыша, он отворачивается, смотрит на жаркий песок. Муравья нет. Солнце печет. Он кладет на песок руки, на руки голову и затихает.

... Четыре дня назад. Ночью эскадрилья капитана Рогова возвращалась с боевого задания и попала в зону огня. Машину потрянуло. Пламя пошло от фюзеляжа к хвосту. Он едва успел выпрыгнуть последним. Парашют раскрылся и подхватил его в темноте. Горящий самолет был уже далеко в стороне и падал, как факел, брошенный в бездну. Земля гулко приняла машину, подняв вверх стол пламени. Словно разбросанный костер в поле, догорала внизу его краснозвездная машина.

А он все еще снижался во мраке.

Далекое пламя закрыли деревья, и тут он услышал над головой треск рвущегося купола. Больно ударился боком о что-то твердое и почувствовал, что повио. Застрял. Но где? Потрогал сбоку - стена. Что за стена? Он крутился на стропах. Почему-то казалось, что до земли еще метров двадцать. Щупал пальцами неровности стены. Болтая ногами подтягивался, пытаясь найти хоть какой-нибудь выступ. "Черт, что за стена? Фабрика

элеватор? Ага, вот выступ". Подтянулся на руках. Окно! Ошарил оконный проём без рамы и осторожно опустил ноги во внутрь.

В помещении пахло сыростью и ветром. Как в развалинах. Попробовал ногами прочность пола — крепкий, но боясь провалиться, присел на корточки, и шаря одной рукой по стене, а другой перед собой, осторожно двинулся вдоль стены в поисках выхода. Рука наткнулась на консервную банку на полу. Понюхал, банка пахла ржавчиной. Чуть подалее задел ногой вторую, эта посвежее — пахнет килькой. Черт знает, чем пахнет в этом замке. Голова кружилась. Что-то звякнуло и покатилося. Бутылка. Все ясно! Не литовский замок и даже не многоэтажная Америка: бутылка пахла водкой.

Двигаясь дальше все время отбрасывал от лица в сторону какие-то развешенные веревки. Веревки, веревки — белье тут сушат что ли? Голова кружилась. Опять банки, еще бутылка.

"Да что же это такое? Куда я попал?" И вдруг похолодел: парашют! Ведь стропы не должны пускаться: парашют зацепился, но их словно кто-то обрезал! И держа в руках идет сзади... Вот сейчас стоит... Голова шла кругом.

Он осторожно вынул наган. Сделал движение в сторону и выпрямился, и звонкий удар по голове ошеломил его. Колокол! Колокольня! Церковь! Он замер, удерживал тяжелый язык. Колокол. Обхватил колокол стараясь погасить звон. Звук уходил вверх по спирали. Голова шла кругом. Стоял приложившись лбом к холодной меди, и уже смеялся над собой." Подумать только, сделал несколько кругов по овальной стене! Ползал на четвереньках, нюхал банки. Насчитал их дюжину, а их наверное только две. Колокольня! И он щупал стены, искал дверь на

выход. Но какой дурак выходит в дверь с колокольни! Присел на корточки, пошарил по полу. Вот кольцо люка... И услышал ~~уже~~ выстрел на улице и крики, словно кого то ловят. Моих? Ведь тут должны быть немцы... и оцепенел. Внизу лаяла собака. В щелях люка показался слабый свет. Кто-то поднимался. Немцы? Свои? Метнулся к стене. Снова взвел курок. Деревянные ступени глухо скрипели внизу, так, как иногда не скрипят ступени крылец. И на сердце отлегло, когда услышал приближающееся стариковское бормотание.

- Ну кто там может быть?

- Кто, кто! А я знаю? Собака унюхала, звон был.- Отвечал второй голос, нетерпеливый и, видимо, молодой.

- Може муха на колокол налетела?- Сделал вывод стариковский голос.

- Фонарь прикрой, муха! Хлопнет по лбу - вот и будет муха!

В люк что-то ударилось.

- У, дьявол, чуть череп не проломил! - И молодой остервенелый голос проорал:

- Эй, есть кто там?

Он улыбался, но молчал. Стариковский голос сделал шаг вниз на одну ступеньку.

- Нет там ни черта рыжего, один ты тут рыжий.ТЬФУ!

- Есть там кто?

- Кто мог? Валяй вниз! Вишь колокол заперт! Никто не звонил.

- Я звонил.- Сказал Рогов твердо и сделал шаг вперед.

- Ну ты, муха, открывай быстро!

Звякнула щеколда, крышка люка осторожно приподнялась над стариковской головой, и вторая, молодая, рыжая голова быстро уперлась в крышку рядом, и выставила наган. Свет от фонаря шел снизу. Старик перекрестился.

— О, господи, ты кто? Откуда взялся?

— С неба, дед.

— Што? — Старик приладил к уху руку ковшиком. — Кричи громче! Я ж звонарь!

— Так меньше надо было звонить, дура! Святой я. — Сказал Рогов и громко засмеялся.

Старик загремел с лестницы и чуть не захлопнул люк. Но молодой, удержав рыжей головой крышку, подняв фонарь, с любопытством разглядывал Его. Этот видел: никакой он не святой, все это комедия, но бог ты мой, как она здорово поставлена.

— Не бойся, дед, — это свой святой! — Крикнул рыжий в люк. — Принимай гостя.

Казалось, Рыжий был даже разочарован, что встретил тут своего, так ему хотелось ухлопать немца.

Старик снова высунул свою головенку и робко дивился. Увидел натянутые стропы за его спиной.

— Ну и крылья у тебя, аж в окно не влазит. Вот я и баю. Ребята бают: лезь смотри. Звон услышали, а я им — да что вы, рази какой святой спустился на церкву...

На улице раздались выстрелы. На этот раз по колокольне. Пуля задела колокол. Колокол позвонил. Рядом посыпалась штукатурка.

Пригнувшись, Рогов быстро сбросил с себя подвесную систему.

— Тут что, немцы?

- А ты думал, в рай попал? - Хлопнул его рыжий по плечу. И вот снова кружилась голова. Он спускался по узкой винтовой лестнице и слышал за собой старенькое топанье вале-нок на босу ногу, и радостное бормотание старика.

- Ну, теперь, наша возьмет, только держись! К нам Михай-ла архангел прилетел...

- Дед, ты ошибаешься, - сказал Рогов. - Я не Архангел, я Георгий - победоносец.

- А мне один хрен кто ты есть, Михаил, али святой Георгий. Мне штоб немца побить...

Да что и говорить, ему повезло. Церковь была окружена немцами, но оставалась неприступной, потому что её, православную, солдаты перекрестили в новую красную веру. В церкви крест-накрест стояли станковые пулеметы и били на все четыре стороны света. В то время как линия фронта откатывалась все дальше на восток, эта церковь на краю села вобрала в себя до сорока окруженцев, и стояла не на жизнь, а на смерть.

- Ну, ты и угодил, прямо скажем, в самое пекло. - Хлопали его по плечу солдаты.

Ночь прошла тревожно. Рано утром со стороны немцев раздались первые выстрелы, и из церкви увидели как задворками от деревни бежит кто-то по полю. А на нем еще несколько человек и стреляют в бегущего впереди. Человек неся во весь дух к церкви, петляя по кривой, спасаясь от пуль. Пыль стлалась за ним как за полуторкой. И вдруг, из-за сараев, мимо которых бежал человек, выскочило еще несколько немцев и бросились наперерез. Растопырив руки, они хотели поймать его живьем, как курицу, но не тут-то было. На картофельном поле

поднялась пыль. Казалось, человеку не сдобровать, но он прыткий, ловко увертывался. Сбил одного, другого головой в живот, и снова вышел вперед.

- Ну прет, ну чешет! Выскочил! - Восхищались в церкви. И тут, в бегущем, Рогов узнал своего борт-механика Семена Копылкова. За ним бежал уже один немец. Остальные друг за другом стали отставать. А этот не отставал, один из отставших что-то кричал своему, тряс руками, по-видимому, приказывал вернуться, но из церкви грохнул выстрел, и крикун упал в картофельную ботву. Немцы залегли. Теперь бежали двое. Выстрелы смолкли. И наши и немцы боялись попасть в своего.

Копылков, как ветер, дул полем, немец висел у него на хвосте. Немец был упорный, совсем зарвавшийся немец. Семен вдруг споткнулся о труп в ботве.

- У-ты-ты-ты! - Оцепенела церковь, но Семен схватил воздух руками и удержался на ногах. Немец за ним махнул и растянулся. Но никто не успел встряхнуть винтовкой, не то что прицелиться, как немец снова был на ногах, и, разъяренный, даже стал нагонять. "Сейчас схватит, сейчас!" Но Копылков поддал жару.

- Ну-ну! - переживали в церкви. - Жми, жми...

Рогов до боли стискивал гашетки пулемета. Каска немца, одна каска без лица, то и дело выскакивала из-за спины Копылкова. И вдруг, что-то блеснуло за ним ниже пояса.

- Нож! У немца нож!

Церковь замерла. Все ясно видели ужас на лице бегущего и тряслись от гнева и бессилия. А тот задыхался.

"Ну, жми, жми.- Думал про себя каждый и стискивал зубы и никто не мог понять, что это "жми" нужно было ~~эти~~ не

стискивать зубами, а кричать во все горло, как орут на стадионах — и человек был бы спасен.

А Копылков из последних сил колотил сердцем к пустой церкви. "Почему не стреляют? Что же это? Почему молчит эта чертова церковь? Неужели там все перебиты?" И с тоской смотрел на приближающуюся оббитую пулями, ослепительно белую от извести и солнца стену. И понял — конец! Надула его бабка ночью, в избе на краю деревни, сказав "родному", что в церкви засели свои. И вспомнив вчерашний странный погребальный звон колокола в ночи и слыша хрип за спиной. Семен впервые подумал о боге, и тут увидел на колокольне Его живой колыхающийся парашют.

Но Он из церкви не видел лица Копылкова. Он целился своему борт-механику в сердце, ловя на мушку грудь, но мушка все время прыгала то на руки, то на плечо. А Он метил в сердце... в сердце!

"У, олух! Ведь должен же понять, почему не стреляют. И не выдержав, заорал: "В сторону, дура!"

И как только Копылков понял, что он олух царя небесного рванул в сторону открыв немца. Грянула короткая пулеметная очередь. И немец сразу же скопытился, и с лету взрыл лбом землю.

Остальную дорогу до церкви обессиленный Раненый проделал ползком под пулями немцев. Тяжелая дверь приоткрылась и его сразу втащили. И увидев сколько в храме живых, и как еще мало мертвых, и узнав своего капитана, Семен Копылков странно заулыбался и потерял сознание. На спине у него зияла свежая ножевая рана.

В церкви было жутко от выстрелов и криков. Все знали, что живыми не выбраться из этой каменоломни. У тесных амбразур зур не хватало места. Стреляли по очереди. И Рогов удивлялся тогда рыжему: в церкви у рыжего — Вадима Синельникова, было столько ненависти, что казалось, тот жил только ею. Стиснув зубы, сузив ненавидящие глаза, согнувшись под сводами, он с ожесточением поводил дулом своего страшного станка. Пулемет Синельникова не знал отдыха и далеко брал с холма перед собой. Вся деревня с задворками была в его распоряжении. Но и перед Роговым тоже открывался неплохой вид: слева берег высохшего пруда, справа картофельное поле с выгнанными далеко в поле сараями. В минуты затишья, глядя в амбразуру, Он подсчитывал убитых, и странно было видеть эту мирную сельскую картину: пыльное поле с поникшей картофельной ботвой, спокойно колышущую траву под жарким ветерком, и тела отдыхающих словно и не трупы вовсе, а мирные селяне, которые доработали до обеда, устали, и вот, в самую жару прилегли отдохнуть. Наелись и лежат: кто прямо в поле, кто на берегу пруда. Трава шевелится, а они нет. Нет, вот один шевельнулся, капитан прицелился и успокоил его, чтоб не мучился.

Да, все сорок знали, что не выбраться. И Рыжий знал, и еще не был Трусом. И даже старик Мокей знал, что отзвонил своё, предавшись безбожникам большевикам. Звонарь остался в церкви из любви к своему колоколу, и по совестительству, следил за церковной утварью: как бы кто из солдат не уволок церковную медь и бронзу. Но потом понял, что не прав, видел, как умирают рядом эти простые новоприходские парни. А после встречи "святого" старик совсем преобразился. И то перевя-

звал раны, то оттаскивал мертвых на середину храма, то заряжал и подавал винтовки. Старик суетился и был прекрасен, когда пыхтя и отдуваясь, впереди целился сам и спускал курок, не ожидая толчка в плечо. И еще не сознавал, что переходит из одной веры в другую.

Ближе к вечеру подтянули пушки и стали расстреливать церковь в упор. В колокол попал снаряд. "Ну, все! Отзвонил Мөкей! Потерял свою работу". И звонарь, как его не удерживали: "Да куда ты, дед, потом проверишь!.." — бросил легкую винтовку и под грохот полез проверять свой колокол. И чудо! — В грохоте взрывов все слышали звон. Но это уже был не звон колокола, а скорее звук надтреснутого рельса. А старик там, на своем ветренном верху остервенело колотил в рельс, словно видел кругом один пожар и сам горел. Взрыв — звон! Взрыв — звон! Взрыв. Взрыв.. И старик в стоптанных валенках так и не спустился на каменный пол.

В живых оставалось все меньше и меньше. Но крепко, на вечные времена ставили русские мастера свои храмы, потому что, как только кончили немцы обстрел, снова оцепили церковь, она без купола, без колокольни, вдруг снова ожила, и неизвестно как и откуда заговорила своими пулеметами.

Темнело. К пяти часам в живых осталось десять человек. На ногах! И двадцать восемь мертвых на каменных плитах пола. Тяжелораненных было двое. Один сидел на полу, сжав голову руками, раскачивался и стонал, просил, чтобы его доби́ли. Пуля вошла ему в глаз и вышла чуть выше виска." Все равно подыхать, не оставляйте, братцы..." Другой раненый подполз, что-то шепнул, и на полу грохнули два выстрела подряд. И оба затихли. В помещении быстро темнело. Надвигалась ночь.

Немцы, расставив вокруг церкви караулы, пошли кто в балку к реке, кто по избам отдыхать.

В церкви в живых осталось семеро. Когда над селом опустилась ночь, Рогов с трудом различал в темноте редкие лица живых, как яблоки белого налива ночью, если подойти вплотную к яблоне. Ждать утро было бессмысленно. И Он сказал:

— Надо уходить. Ночью мы выползем отсюда. Я заметил, где можно уйти.

Настала ночь. Вызвездило. Они молча простились во тьме с мертвыми и осторожно выползли из темной руины.

Ползли они друг за другом по холодной росистой траве. Ползли неслышно, как одна большая гибкая змея, огибая трупы в траве, замирая при малейшем звуке. И Рогов полз первым. И когда в небе вспух свет осветительной ракеты, они уже выползли из кольца. А когда вспыхнула вторая — все семеро сидели в кустах и тихо перешептывались. Где-то на краю сада забрехала собака, потом прокричал петух.

— Ишь, еще живой! шепнул Копылков о петухе.

— Ничего, завтра и он будет в их котелке.— Сказал кто-то из семерых. И Рогов подумал, что сказавший это, завтра не поднимется с земли, потому что в голосе говорившего была не радость за петуха, а тревога за себя. Многие Ему запомнилось в ту ночь, и запомнился Рыжий, который уже настораживал, потому что, когда они собирались выползть, в темноте под сводами, все услышали безнадежное:

— Я остаюсь...

И Рогов вздрогнул, узнав голос Рыжего.

— Вы ползите, а я... если что, я прикрою вас...

— Ты что? В плен захотел? — прошипел Раненый.

Уже тогда Раненый понял Рыжего по-своему. Но Капитан остановил рукой своего борт-механика и мягко сказал в темноту:

— Время идёт. Давай, друг. Ты же не ранен? Возьми себя в руки. — И сам протянул в темноту руки, приподнял и встряхнул тяжелого рыжего. Он уже успел за день полюбить этого человека.

Да! Он запомнил Труса в ту ночь. Потому что, когда они выползли из церкви и в небе вспыхнула первая осветительная ракета, Синельников замыкал ползущую цепочку, и вся змея, как по-команде, замерла, и вдруг, конец хвоста отделился от притаившейся змеи, и тяжело работая локтями и коленями, обогнал напряженно думающую, смотревшую вперед голову. Капитан запомнил, как рыжий, словно не замечая их, машинально прополз рядом, жутко освещенный светом ракеты. Угрожающе злобный зад был словно сам по себе. Синельников уже тогда мог их погубить. Рогов ничего не сказал ему. Ведь человек весь день был храбр!

На следующий день утром немцы накрыли всех в балке, на краю уютного сельского кладбища. Трое успели скрыться в кустах среди могил, а четверо остались лежать на дороге.

Немцы обыскали трупы и сбросили их в канаву. Прочесывать кладбище не стали, но на всякий случай постреляли по кустам, попрыгали в свой грузовик и укатили, пыля. Трое лежали среди могил под кустами бузины, смотрели на мертвых товарищей и ждали ночи. Время тянулось, как вдруг, на дороге показались два пеших фрица. Оба загорелые и крепкие. Один рослый в очках, с закатанными по локоть рукавами, автомат

на груди: другой крепыш с автоматом за плечом. Они шли и о чем-то весело болтали. Очкастый доказывал, махал руками, и оба смеялись. Заметив трупы в канаве, немцы насторожились, переглянулись, и очкастый, вытянув шею, полз в канаву. Хотя там и лежали те, у кого ничего не было, но кое-что еще могло остаться в карманах; но и там было пусто, и фрицы пошли дальше, смеясь и пыля сапогами.

И когда Рогов лежал между могил, прицелился в левого, очкастого, и выстрелил. Синельников цепко схватил его за локоть, и в глазах у него был ужас, словно последует ответная пуля с дороги. Но Рогов с ненавистью вырвал локоть и выстрелил еще раз в убегающего второго немца. Немец с разбегу ткнулся носом в пыль и затих.

Легкий ветерок подхватил поднятую на дороге пыль, закрутил ее и понес над дорогой вверх из балки...

А над головой пели птицы и пекло солнце, и рядом никли травы и листья деревьев, и сохли цветы рядом на могиле агронома Бахметьева, умершего совсем перед войной, и душное знойное марево висело над степью, а рядом большой рыжий человек вдруг затрясся широкой спиной и уронил лицо в ладони. Уже тогда слезы Синельникова поразили борт-механика и капитана. Но что это было, капитан так и не узнал. Он не знал, что три недели назад, за неделю до окружения, Синельников получил письмо. Прочел и ясно представил, как прожектора бинтовали небо над его родным городом, и как крики девушек из дружины ПВО, дежуривших в ту ночь на крыше, покрывал грохот зениток из Сада Отдыха, а на город падали фугасные бомбы и зажигалки. Дом горел, когда одна зажигалка ударила Ольку чуть выше

уха и волосы сразу вспыхнули.

Скорчившись, она запылала, и когда её заметили и облили водой все уже было кончено..." И лишь по белым тапочкам её еще можно было узнать, а так... она вся обгорела, как спичка".

Все это отписала Вадиму Синельникову несчастная простодушная мать, думая, что кому-кому, а уж ему-то будет все интересно узнать о своей любимой. Все! После этого письма он перестал видеть окружающее. Он думал о ней, о ней, а значит, ни о ком рядом, и значит, только о себе. Перед ним неотступно стоял жуткий призрак Олькиного обуглившегося ~~тела~~ тела. Сколько раз он видел эти страшные сгоревшие тела на днищах подбитых танков, и вот, как бы воочию увидел её обуглившееся лицо. Какие черные ямы были вместо глаз, и как нос обуглился, и губы. "Даже зубы у нее были черными", так писала мать.

В церкви Синельников знал, что живым не выбраться, и не щадил себя — все равно подыхать! Но только не отдавать дешево свою жизнь. Бить их, бить гадов! Но пришла ночь, а с ней спасение, снова надо было жить, а сил уже не было. Кругом — пустота и мрак, и потухающий свет осветительной ракеты, и снова тьма, и надо куда-то ползти, и зачем-то спасаться. Но куда? Зачем? И опять откуда-то, как из черных углов подвала поднимался этот призрак её обгоревшего черепа и вытеснил собой смеющееся под солнцем и парусом счастливое лицо. Еще там, на кладбище, лежа под кустом бузины, Синельников в ужасе думал: "Кому, кому нужна была её смерть? Кому вообще нужны эти тысячи смертей? Чем вызван на земле этот ад?" — спрашивал он себя, слыша выстрел

и увидев пыль на дороге. Два выстрела по прохожим на дороге, и шик — тишина! И два новых трупа в пыли, четыре в канаве, а трое живых среди могил, и солнце светит всем! Все рушится. Хаос! На земле ничего ясного кроме ненависти, кроме смерти в этой страшной пыли, и это так просто и страшно своей простотой и реальностью. И спутав все истины, все понятия, все то, что он знал, во что верил, чему его учили, а учили его добру, учили всех: и Раненого, и Капитана, и этих двух немцев — учили века и мать, и отец, и школа, и общество, и писатели, говоря, что есть истина, и что надо любить ближнего, и что самое дорогое на земле — человек, и что самое прекрасное на земле — человек. И Трус снова представил ее обугленную голову на мокром песке чердака и зарыдал. "И убили ее тоже люди!" Уже тогда, там на кладбище, ему хотелось бежать все равно куда.

Солнце стоит в зените над воронкой. Раненый борт-механик лежит, закрыв глаза пилоткой и что-то тихо шепчет о водопое. Он бредит. Он давно забыл и Труса, и своего капитана. Раненый давно в пустыне, и горит как подожженный беззобак. Кругом страшный зной песков. Без конца пески, и даже глубоко под ними — ни капли воды! Ни капли! Ни во что больше не верит Раненый: ни в бога, ни в черта, ни в пожарника с брондспойтом — и ни во что не веря, хочет одного:

— Воды... Во-о-ды...

Солнце печет. Жарко. Сухой ветер колышит голые ветви над воронкой. Рогов больше не может слышать его стона:
"Хватит! С меня довольно! Я сыт по горло этой водой. Надо ползти! Надо ползти..."

Его пальцы торопятся, отстегивая флягу от пояса бесчувственного борт-механика. "Надо ползти. Ясно, как день!

Бедняга не дотянет до ночи! А ручей бежит туда, к немцам, ко всем чертям, и они черпают из него, и смывают пыль со своих сапог, и моют бронемшины! Проклятье! Я выпью этот ручей. Я весь его выпью. И пусть он не достанется немцам. Я выпью и Волгу, если она потечет к ним. Семен хочет пить и остаться в живых, и рыжий хочет пить и не быть трусом. Что делать— он трус, но это может со всяким случиться. На войне всех ранят...

И вдруг его поразила эта мысль! "Ранен!" Рогов смотрит на Синельникова, и словно впервые видит этого человека.

"Боже, да ведь он ранен! Да, да, теперь я вижу, он не трус. Он тоже ранен! И он ранен также тяжело и больно, как тот, у кого вываливаются наружу кишки. Он ранен, но не в зад, ни в ногу, ни в плечо, а в душу! В душу: черт меня побери! Как я этого сразу не мог понять?! Этот рыжий ранен навывлет в душу, но этого никто не видит! И поэтому вот таких считают трусами, плюют им в лицо и расстреливают как последних собак, и поэтому не расстреливают раненого, у которого осколок торчит в спине— есть доказательство ранения! Вот торчит осколок! А у этого взорвавшаяся граната в душе! Но никто не видит это, называют его трусом, и расстреливают как последнюю собаку. Но ведь это ложь! Он ранен и, значит, его надо лечить, лечить, как и этого. Глупец я! Он ранен. А ведь раньше он был храбр, как рыжий лев! Да, там в церкви, он дважды, трижды был героем. И не его и не моя вина, что он не получит своих золотых звезд. Он ранен! А ведь раньше он был храбр, как рыжий лев. Да, там в церкви, он дважды, трижды был героем. И не его и не моя вина, что он не получит своих золотых звезд.

Он ранен! И его надо лечить! Надо ползти!" Так думал капитан, снимая сапоги и глядя на высокое солнце. "Черт побери! Ведь лечат же мясо с^р осколком фугаса, так почему нельзя лечить душу, пробитую этим осколком навывлет? Кто сказал, что душа бессмертна? Ему пробили душу и душа полилась. И он истечет душой, как кровью, если ему не помочь!"

Теперь капитан знал, что делать. Надо спасать этих раненых: надо ползти. И стало легче от мысли, что нет больше труса, а лежит рядом раненый. Два тяжело раненых человека.

— Давай флягу, друг, — сказал он рыжему. — Я поползу. Да, да, дружище, давай, а то наш приятель не дождетя ночи. Слышишь, давай её сюда пустую.

Рыжий словно во сне, стал отстегивать свою флягу, и вдруг заторошился.

— Вот-вот, давай быстрее!

Но когда Синельников безучастно протянул свою флягу, сердце Рогова сжалось. Их было три алюминиевых солдатских фляги. Три фляги цвета высоко поднятого над землей аэростата. Три горячих от солнца фляги. Три жизни: Раненого, Труса и Его. Солнце было на всех одно и стояло в зените. ~~Рыжий~~

Рогов молча прицепил фляги к ремню и закрыл их гимнастечкой навывпуск. Вынул из карманов все свое потное, лишнее доброе прелый бумажник, в котором было несколько писем от жены, фото, колечко волос сына, Там были и бумаги, удостоверяющие кому-то и когда-то его личность. Он раскрыл бумажник: зачем они здесь? Кроме писем, фото и колечка волос все тут хлам. А эти слежавшиеся тридцать два рубля? Смял их в кулак и выбросил из воронки. Документы? Кому они нужны сейчас? Этим

двум? Эти бумажки никому ничего не расскажут, каким я был три дня назад и буду через десять минут.

Он положил на песок портсигар, снял часы и компас. Но бумаги, документы, партбилет, письма жены, старенькое фото и колечко волос в бумажнике отдал Синельникову. Рогов отдал ему все за пустую флягу, и тот все принял, не моргнув глазом и не дрогнув рукой. Рогов отдал все, кроме последней папиросы. Нет, он не мог ждать ночи, не мог ждать сто лет, и вот закурил.

Он курил и смотрел на Рыжего, ждал: выдержит ли тот, но не выдержал сам затянулся несколько раз и протянул окурочек, и тот, только что равнодушно взявший самое его дорогое, вдруг задрожал рукой, беря Его последнюю затяжку.

" Пора! Даже если ты Трус, я сделаю из тебя человека!"
— Жди, я скоро.

Рогов посидел еще минуту и осторожно выполз из воронки. Воронка сразу опустела для Труса. Раненый уже давно был в пустыне.

Рогов полз, плотно прижимаясь к земле. Тело сжималось и вытягивалось. Он полз, как тогда ночью, когда выползал первым из церкви. Но тогда была ночь, а теперь? Он знал, что открыт всем и каждому, и виден, как та пилотка. Он полз и слушал, как шелестит трава под телом". Неужели правда, они не видят? Неужели!" И чувствовал свою беззащитность и уязвимость. Только бы проползти эти пятьдесят метров там...

И он полз на звук быстрее, быстрее, работая локтями и коленями, и не обращая внимания на проснувшуюся острую боль в плече, быстрее, быстрее!" Только бы не заметили!"

Быстрее, быстрее. Как вдруг, стоп! Совсем над головой пролетела пуля и послышался дальний выстрел. Немцы! Он застыл. Сердце било по голове. Вжался в землю.

Вжик!

У самого лица пронеслась вторая пуля. Под носом срезала острия травы и ушла в землю! Это свои! Сердце колотилось. Нет так нельзя! Лезть на месте бессмысленно, даме, если прикинуться трупом. Он знал, как трудно обмануть винтовку с оптическим прицелом. Вскочил и побежал. Только б не споткнуться! Быстро, быстро!

Пуля подкосила правую ногу и он упал. И снова пополз, напрягая силы. Еще, еще немного. И когда вполз в низину, выстрелы прекратились. Он замер, и дышал, и никак не мог отдышаться. Кровь прилиwała к вискам. Он то поднимал голову, озираясь по сторонам, то снова ронял лицо в траву. Но это была уже победа — вода была рядом! Вот она! В пяти метрах. Перед ним шелестели листвой кусты, начались высокие ветки ивняка. За деревьями громко шумела падающая вода.

Отдышавшись, он с трудом подполз к кустам и увидел чистую прозрачную, едва колеблемую течением воду, светлое песчаное дно, чуть голубоватое от воды, и зажмурился, все еще не веря...

Он пил жадно и громко, окуная в воду лицо, погружая всю голову. Пил и вползал в ручей, пока не вполз весь. Он пил шумно, как большое ожаждавшее животное, встряхивая головой и снова погружаясь. Когда руки онемели, устав держать на весу тело, перевернулся в воде и, развернувшись головой к берегу, лег на спину и все продолжал пить, пить. Высовывая из воды лицо, хватал воздух и пил большими глотками и

жмурился на солнце. Он пил воду, и это было счастье. Тело отдыхало и остывало. Он втягивал в себя холод, дышал носом и млеял.

" Вода, вода... наконец-то... вода!.. И губы болели в улыбке. А когда понял, что все равно не выпить этого ручья, закрыл глаза. Отдыхая он слушал шум падающей воды за деревьями. Мельница?! Конечно, мельница! Вода холодила щеки, качалась вокруг лица.

Он открыл глаза и подул на воду, отгоняя от губ скользящий перед носом водомеров. Лег повыше, головой на влажный берег и увидел в воде свое поверженное тело. По темной гимнастерке, по обтягивающим галифе, скользили, преломляясь в воде, солнечные лучи. Эти светлые полосы, с едва видимым спектром, словно качали его тело. Заметил, как из-под правой штатины галифе в воду подымается рыжий столбик крови.

" Это там, на бугре. Наши или немцы". Подумал он. Глядел, как кровь, поднимаясь от ноги, светлеет, проясняется к поверхности и уносится течением. Как дым из трубы — ржавый дым словно горит нога.

Нога действительно горела. Появилась пиявка — плыла против течения к нему. " Ишь, и ты здесь: запахло жареным, и ты тут как тут!" Он улыбнулся. " Ну-ну, давай!" И ждал, что будет делать пиявка. Она опустилась на его колено, и то поднимала, то опускала свой хвост-головку: выбирала место, где бы присосаться. Пиявка была разборчива и никак не могла найти себе место. " То да не то" — словно говорила пиявка — мешал плотный материал галифе. Мальки собрались у его пяток, и он чувствовал легкое приятное щекотание от прикосновения

их невесомых головок. Он пошевелил пальцами ног, спугнул мальков, но через минуту они снова собрались. Его большое, спокойное тело стало привычным и своим в этой среде.

Осторожно, чтобы не поднять муть, он задрал подол гимнастерки. Три фляги выскочили по бокам. Он отвинтил крышку фляги Раненого и фляга с бульканием легла на дно. Затем открыл вторую, третью... Фляги лежали как понтоны по бокам затонувшего корабля, и он знал, что только эти фляги поднимут его со дна. Только они." Надо ползти!"

Лежа, глядел в небо, собирался с силами и ни о чем не думал; и думал о земле и травах, о людях и муравьях, о ручьях и о великих реках, и о том, что есть истина, и что надо торопиться — я уже спасен, а они? О раненых он думал всегда, и только о трусах, вот так — впервые. Обо всем думал этот человек, когда лежал в воде, потому что это могли быть его последние минуты. И только о ней боялся думать. И не думал, все-таки вошел в парадную своего дома, хромя на раненую ногу, стал тихо, с бьющимся сердцем подниматься, тихо открыл французским ключом дверь в прихожую, потом еще тише чуть приоткрыл дверь в комнату и увидел её. Жена стояла у окна, руки за спиной. Смотрела в окно. Ждала! Он боялся скрипнуть дверью, что она повернется и бросится к нему, и тогда... Он тихо закрыл дверь... и завинтил фляги.

Прислушался. Высоко в небе гудели самолеты. По гулу моторов он слышал — свои! Наши! Радовался и страдал он. Они летят. Они там, а я здесь! И захотелось туда. В небо с этого дна! Они летели высоко и чуть поблескивали на солнце. Смотрел, смотрел, перевел взгляд на землю и вздрогнул: на проти

противоположном берегу, на сучке ольхового куста, греясь на солнце висела над водой змея. Серая маленькая гадока. Ишь, ползучий гад! Даже ты сейчас в воздухе!" Подумал он. Маленькая головка змеи свешивалась и тянулась к нему. Змея словно присматривалась, принюхивалась к нему, словно раздумывая — подползти или нет?" Когда он умрет, я заберусь в его открытый рот и это будет моей норой. Кругом будет вода, а я буду жить и шевелиться в нем..." И его передернуло от этой мысли.

А кровь все поднималась от ноги расплывающейся струйкой ржавого дыма, и он даже качнулся в воде от омерзения, когда увидел, что жадная пиявка, наконец нашла то, что искала. Её черное тело раздулось и жутко шевелилось в буром дыму. Он плотно завинтил фляги, последний раз окунул лицо и выполз на берег. Вода стекала ручьями с тяжелой гимнастерки. Ребром ладони он сбил с ноги толстую пиявку, и стараясь ровно дышать, двинулся обратно. Ползти было трудно. И он знал: шансов мало, но вдруг, повезет. Раненая нога совсем онемела и не слушалась, но он полз, преодолевая боль. Перед тем, как ползти на бугор, он остановился перевести дух. И долго и глубоко дышал, собираясь с силами. Ползти, медленно ползти, вжимаясь к земле. О том, чтобы добежать до воронки не могло быть и речи. Голова звенела и кружилась. Ему казалось, что он сейчас будет делать бессмысленное — вновь ползти по овальной стене колодезья. Ах, если бы темнота... Стало мучительно жарко и некуда было деваться от солнца. Над головой стоял пронзительный звон солнца, и от этого звона нельзя было спрятаться, можно только зажмуриться и уткнуть лицо в траву. Беспощадный, резкий звон, как крик матери, увидевшей своего ребенка, который вот-вот попадет под поезд, и, наконец, слился с

грохотом проносащегося мимо поезда. Он зажмурился, подождал, пока стихнет звон в ушах, и пополз.

Напрягаясь всем телом, он вполз на бугор. Он полз и уже не слышал выстрелов. Он полз, как плыл, и ему казалось, что под ним бездна океана и кругом акулы, и они не видят, только бы не заметили. Он полз и не верил этой тишине, и напряженно вслушивался. Силы были напряжены до предела. И, вдруг, сильный удар в бедро и жгучая боль в боку. Пуля! Но что это? Потекло что-то холодное! По горячему — холодное! Вода! Фляга.. Скорее, скорее.

Быстро нащупав, зажал две пробойны во фляге и с силой оторвал ее от ремня, чуть не выбросив ее в рывке. Дальше он полз с флягой в руке, крепко зажав пальцами пробойны. Плечо болело. Боль в бедре была невыносимой. Нога совсем онемела и не слушалась. Но он полз и глядел вперед. И дерево, голое дерево над воронкой медленно приближалось, и когда осталось каких-то восемь метров до воронки, кто-то со всех сил ударил его по голове. И он затих. Быстро, словно вода в песок уходила силы. Он дрочил всем телом. До боли, до посинения в ногах сжимал флягу, старался не отпустить и тянул её туда, к воронке. Судорожно! Судорожно!

... И вдруг увидел облако. Огромное, величественное облако возвышалось на горизонте. Оно было еще очень далеко и неподвижно стояло над степью. Оно кучилось, высоко освещенное солнцем, золотисто-розовое в вышине и иссиня-темное и тяжелое внизу. Очень далекое, оно громаздилось в вышине и растерялось у самой земли, в душном мареве дня. Это огромное облако было как откровение, полное тени и воды.

И почему-то стало тоскливо, что вот оно появилось, наконец-то, оно появилось, а я умираю... Теперь можно и не торопиться... Зачем ползти?! Что мои три фляги перед этим облаком? Она принесет им и дождь и тень.

И он почувствовал безбрежный покой и одиночество. Он не слышал выстрелов, он смотрел на облако. Но это величественное облако было еще далеко и не приближалось.

А там, на песке, совсем рядом, лежат они. С открытыми ртами! Как рыбы на песке. Две рыбы на песке. И открывают сухие рты и еще дышат, дышат...

Три рыбы на песке! Думающие только о воде... А это чертово облако очень далеко и не двигается. И он снова заволновался. "Нет, нет, я должен успеть раньше облака, раньше этого проклятого облака. Это не важно, что оно появилось. Оно еще далеко, а я здесь, почти рядом. И я умираю. Нет! Нет еще! - И он напрягся. Он снова отчаянно задвигал руками и ногами, но не сдвинулся с места. "Я должен успеть раньше облака, раньше этого проклятого облака..." И выбивался из сил и оставался на месте, а дерево было рядом и не приближалось. "Нет, так нельзя, нужно еще что-то делать!" И он судорожно сжимал флягу, тянул руку к воронке, лихорадочно думая: "Ну что же... Как же... Как не звать этого рыжего? Как его звать..." И вспомнив, радостно закричал:

✓ Трус! Трус! - Подождал и снова, протяжной и тише.
- Трус! Вода!

И понял, что в воронке его слышат. Должны слышать, но воронка очень глубока. И человек, который слышит и спешит ему на помощь, как тот муравей, никак не может выбраться

из воронки, потому что песок осыпается, осыпается. А он все тянул туда руку с флягой и со слезами шептал:

— Вода!... Вода же! Братцы! Вода-а-а — И язык его костенел а глаза стеклянели.

Когда Синельников втащил капитана в воронку, тот был мертв. Пальцы капитана, как клещи, стискивали флягу. Большого труда стоило Синельникову разжать мертвые пальцы, а когда разжал — отшатнулся: из фляги в две струйки брызнула вода.

" Господи! Что это? Только бы не вылить..." — И сам быстро перехватил и зажал пробоины. Он торопился, отвинтил крышку и с трясущимися руками наклонился к бредившему раненому.

— Слышишь, очумелый, эй, ты, пей! Надо, чтобы вся его вода перелилась в нас. Вся душа! Ты слышишь? — Взволнованный, он тряс раненого за плечи. — Ты будешь жить, ты поймешь, я не трус, не трус... Ну, открывай глаза!

Рука Синельникова слабела и дрожала на весу, но он держал флягу у губ раненого и глядел, как тот пьет. Наконец-то пьет. " Пей, пей! Подожди, сейчас легче станет! Мы будем жить! Теперь-то дождемся ночи. Пей... А в вечеру станет прохладно и выступит роса, и скопятся на небе звезды, много звезд. Не бойся, я потащу тебя. Теперь-то уж ты дотянешь до ночи. У нас теперь много воды. Пей, пей!

Раненый пил жадно и сладко жмурился, как ребенок, чмокал, распуская по подбородку веселые ручейки. Он пил, наконец-то, пил свою воду. И ему уже не казалось, что песок воронки — это пустыня, что солнце над ним — это пустыня, и никогда еще не казалось Копылкову, что вода может быть такой мокрой и

холодной, нестерпимо мокрой на подбородке и холодной за шиворотом.

" Вода! вода!" И он с упоением пил свою воду. Пил и ничего не думал о Величии мертвых и о Величии ползущего человека, которое бывает выше летящих высоко в небе. Ни о чем не думал этот очумелый раненый, он пил, и пески его пустынь можно было утолить, но вдруг все оборвалось. Последний ручеек пробежал по щеке, и его было не остановить плечом. Алюминиевое горло выскользнуло из губ и он услышал, как кто-то рядом большими гулкими глотками пьет воду. И открыл глаза.

- Сволочь! Что делаешь?

Рыжий, лежа на локте, беззаботно улыбался и выливал воду в песок. Копылков, тараща глаза, пытался понять...

- Что делаешь?!

А тот, словно играл в куличики. Бульканье становилось все тише и светлей.

Копылков напрягся и зло вырвал флягу. И фляга вдруг ожила и пустила сбоку струйку. А рыжий улыбался, он был доволен произведенным впечатлением.

- Што лыбишься? - И тут Копылков понял: Рыжий мертв.

Синельников был смертельно ранен, когда втаскивал в воронку капитана. И раненый не видел, что тот принял флягу, как эстафету капитана и напоил его, раненого, а сам не попробовал ни капли. Ни капли!

Фляга блестела в руке Раненого, как алюминиевое солнце, Раскрыв рот, он подождал и вытряс из нее еще две капли, повернулся и вздрогнул. Растопыренные пальцы торчащей окостенелой руки капитана цепко держали воздух - пустоту в форме фляги.

Секунду Копылков смотрел на эту страшную руку, ничего не понимая. Увидел две тяжело свисавшие сбоку фляги и все понял.

— Капитан!!

Тишина и голое дерево...

— Рогов?!

И поняв, взревел:

— Женька-а!

И такая ярость подняла его на ноги. такая ненависть! Выхватив из песка наган, он с хрипом выбрался из воронки.

— Гады! — крикнул он. — Ненавижу! И выстрелил в сторону немцев. И стрелял, стрелял, стрелял — щелкая пустым затвором. Он больше не мог ждать ночи! Не мог! И он стоял над воронкой, за этих двух неподвижных, напоивших и поднявших его ценой своей жизни.

Смертельно раненый, он в ярости видел далеко вперед свою землю. Он видел не только кусты и воронки в стороне, но и мельницу, и как вода падает с плотины и блестит на солнце. А справа, по степи за желтыми кратерами воронок он увидел танки. "Наши танки!" Они шли с грохотом в столбах пыли, и их было много. Целые полчища! И все они дымили степью.

А над всем этим сияло солнце — яркий вечный взрыв смеха над землей. И он почувствовал, что летит. Летит туда, к Солнцу, к Звездам. И это победа! Да, победа!

И все дальше, куда-то в сторону, уходила от него степь, и ползущие по ней танки, затихал грохот и взрывы, удалялась эта страшная земля... Его тело не сразу потеряло равновесие. Нога медленно подтягивалась, и тело, сделав спиральный разворот, рухнуло в воронку. Глазами к солнцу.

На небе не было ни облачка! То большое облако лишь пригрезилось капитану. Солнце стояло еще высоко, тени еще не собирались выходить из-за деревьев из-под деревьев.

Ночь так и не наступила. И никогда не наступит!